

*Моим родителям*

Где суд, там и неправда.

Лев Толстой

**Умереть —  
как глотнуть кофе**

**А** что же остальные? О, остальные просто украшали картинку — как кактусы в вестернах. Я же, будучи послушным зверьком, не зная, что, помимо клетки, где он провел всю жизнь, существуют иные миры, даже не подозревал о том, что вселенная не сводится ко мне, ему, ей и ставшим родными прутьям, из-за которых мое заключение казалось вечным, а при взгляде на открывающиеся вокруг пейзажи щемило сердце.

Незыблемость этой исконной самодостаточности подорвала школа: к моему огромному удивлению, в жизни даже самых несуразных одноклассников было полным-полно дедушек, бабушек, братьев, сестер и мечтательных кузин.

Тогда-то и закралось сомнение в преимуществе нашей сугубо отдельной жизни, я стал задаваться неудобными вопросами вроде: а куда все делись? что же с ними приключилось?

Судя по рассказам родителей — вернее, судя по тому, что родители старались об этом не говорить, — наш род вымер миллионы лет тому назад. Что прежде всего объясняло, почему отец отбирал воспо-

минания о собственном детстве с осторожностью палеонтолога, берущего в руки доисторическое ископаемое, и почему мама вела себя так, будто у нее и во все не было детства, прошлого, собственной истории.

Человек — общественное животное. Так говорил Аристотель. *Ipse dixit*<sup>1</sup>. Наверное, он прав, но, попадись ему такие родители, как мне, у него бы язык не повернулся сказать подобное! При этом, будучи человеком негибким и педантичным, он бы точно не применил слащавое определение “домашнее гнездо” к норе, где я вырос: сколько бы я ни старался, мне вспоминается не соломенный тюфяк, на котором так сладко дремать, и не гамак, лежа в котором приятно любоваться закатом, а разобранная постель — мрачная пещера, готовая тебя поглотить. Разве не там, под одеялом, в полной темноте, рождаются истории? Что ж, и эта история, хотя она меня уже почти не касается, не станет исключением.

1 Сам сказал (лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)

**Я** был еще не оперившимся птенцом, когда однажды, увидев лежащего в постели отца, со страхом подумал: он испустил дух. Эта мысль вряд ли бы посетила меня, не последуй ночь, когда он решил умереть, за днем, когда он объяснил мне, что значить жить.

От того утра у меня остались смутные и мало-приятные воспоминания. Началось оно хуже некуда, под знаком презренного чувства, заглушить которое неспособно даже самое безмятежное и полное довольства существование, — чувства страха. Раз уж я разоткровенничался, честно признаюсь: согласно царящим среди детей жестоким законам, я был образцовым хлюпиком.

Последние месяцы мои слабые нервы оказались игрушкой в руках мучителя, замещавшего нашего наставника. Единственное мастерство, коим овладел сей педагог, особенно если сравнивать его с любезным предшественником, — это лупить школяра по затылку костяшками пальцев, нанося прицельно точные удары так, что у того до вечера горела голова, а гордость была посрамлена до скончания дней.

Некоторое время, повинуюсь свойственному трусам желанию не высовываться (казалось, новый учитель охотнее карает проказников), я обманывался, полагая, что, если буду тише воды ниже травы, бояться мне нечего. Увы, со временем я осознал, что кулак учителя карал без разбора (разве что повинуюсь педерастической тяге к мальчишеским затылкам), более того — выискивал новых невинных жертв, чтобы с ними расправиться. Словом, наказание было делом времени: раньше или позже, не вернись прежний наставник, его заместитель должен был найти способ надо мной поглумиться. Я ожидал чего угодно, кроме того, что сам подарю ему удобный предлог, когда уже чувствовал себя в безопасности.

Однажды в субботу, выйдя из школы и заметив мамин “рено-5” горчичного цвета, при виде которого сердце наполнилось покоем, я зачем-то решил толкнуть Деметрио Веларди — не ожидавший подобного одноклассник упал и ободрал коленку. “Ты что, псих?” — крикнул он, привлекая всеобщее внимание.

Лишь тогда я осознал, что наш педагог бесстрастно наблюдал за моей бравадой. Поскольку неблагоразумие воистину безгранично, я бросил на него взгляд, который столь злопамятный тип наверняка истолковал наихудшим образом. Я увидел, как карающая длань сжалась в кулак (по крайней мере, мне так показалось), губы что-то прошептали (в этом сомнения не было), в глазах появилось нетерпение человека, вынужденного ждать целые выходные, чтобы добиться удовлетворения.

Какая насмешка судьбы, если учесть, что прежний учитель должен был выйти во вторник, что означало

закат кровавого режима и восстановление демократии и незаблємости права. С таким настроением начались самые мрачные выходные моего детства.

Может показаться странным, что я так и не поведал родителям о том, какая опасность грозила их отпрыску. Но нужно учесть, что ничего не произошло — по крайней мере пока что: наберись я смелости и честно все расскажи, я бы все равно не привел факты, если не относить к таковым домыслы и одолевавшие меня предчувствия. С другой стороны, мои папа и мама отнюдь не были типичными тревожными родителями, стремящимися поддерживать с чадом диалог на равных, я же был классическим хлюпиком — замкнутым и, если и не привыкшим врать, безнадежно склонным недоговаривать.

Словом, пребывая в отчаянии, я задумался, не пора ли покончить с глупыми недомолвками и рассказать все как есть. Конечно, я не ожидал, что родители вмешаются. Достаточно было оставить меня дома. Не навсегда — всего на денек, в тот кошмарный понедельник. С утра вторника — никаких пропусков, железно. Никогда и ни за что. Это слишком? Видимо, да, потому что мне даже не позволили толком все объяснить.

Воскресенье я провел, обдумывая полузаконные способы как-то выкрутиться: от манипуляций с градусником до настоящего бегства. Жаль, что я был не мастак на хитрости и демонстративные поступки — не из-за несвойственного моему возрасту стремления вести себя безупречно, а из-за уверенности, которая осталась со мной на всю жизнь, что мир использует любую удобную возможность вывести меня на чистую воду. В общем, я бесконечно пережевывал эту мысль и пришел к единственному вы-

воду: у меня не было гениального запасного плана, который спас бы от неизбежной судьбы. Воскресный вечер я провел, как осужденный на смерть проводит последние часы перед казнью: не отрывая глаз от коридора, по которому его поведут на эшафот.

Лишь в понедельник утром инстинкт самосохранения проснулся, вылившись в непонятный дерзкий каприз: нет, в школу я не пойду, сегодня — нет, ни за что!

Мама впервые столкнулась с таким потоком возражений. Будучи человеком сообразительным и рассудительным, она потребовала от меня объяснений — единственного, чего я дать не мог, — выслушав которые была готова допустить, что удовлетворит мой пока что необъяснимый каприз. Небесам известно, как я мечтал подарить ей желаемое, но некая высшая сила, скрытная и преступная, велела не раскрывать рта. С одной стороны, я не знал, с чего начать, с другой — живо воображал, что ожидающее меня за злодейство наказание окажется куда суровее, чем обычно, дабы послужить мне уроком. Оставалось сдаться безо всяких условий: я пойду в школу и понесу заслуженную кару. Чем больше я об этом раздумывал, тем больше убеждался в собственной виновности.

Я уже стоял на лестничной клетке, у лифта — руки и колени тряслись, живот скрутило, — когда отец решил, что пора вмешаться.

— Слушай, давай сегодня я сам, — сказал он, будто ничего не произошло.

— Ты о чем? — с подозрением спросила она.

— Отвезу его в школу.

— Прости, но разве тебя не ждут в Чивитавеккье?

— Подождут. Это ведь не займет много времени? Мне нетрудно. Заскочим в бар, он немного успоко-

ится, мы поговорим как мужчина с женщиной, а потом сразу в школу. Давай, так и ты успокоишься, всем станет лучше.

Я любил, когда он провожал меня в школу. Вечером добиться от него обещания сделать это было нелегко, заставить сдержать слово утром — куда труднее. Полагаю, все дело в заведенной с юности привычке сидеть допоздна и, раз уж не спишь, позволять себе выпить лишнего. Эти “грешки” не только приводили к тому, что ему было тяжело вставать по утрам, но и подрывали сыновнее доверие.

Признаюсь, я обожал кататься с ним по городу. Главным образом потому, что в подобных редчайших случаях он всегда излучал беззаботность и жизнелюбие. Первым делом он вставлял в магнитофон кассету с хитами своей юности. Затем мы заглядывали в какой-нибудь живописный бар, притаившийся в переулках Трастевере, — нечто среднее между кафе-молочной и булочной, символ уходящего Рима, где с рассвета выпекали такие ароматные и румяные булочки, что запах разносился по всему кварталу и за его пределами, будто намекая прохожим: нет ничего слаще утра.

И все же, зная, сколько удовольствий меня ожидает, я был уверен, что на сей раз они не окажут обычного благотворного воздействия — по крайней мере, не в такой степени, чтобы заставить меня выбросить из головы крутившуюся в ней мысль, которая повергала в отчаянье.

Однако, вопреки обещаниям, отец не стал вести со мной душевные беседы, устраивать музыкальные паузы и вообще как-либо утешать. Он направился прямо к цели, неумолимый, как смертный приговор, в исполнении которого собрался участвовать.